

Вопросы веры

В той же «Речи о пролитом молоке» – стилистически разношерстном, лихорадочно изложенном кредо Бродского – сказано:

Обычно тот, кто плюет на Бога,
плюет сначала на человека.

Мы знаем, что, воспитанный в атеистическом обществе и в религиозно индифферентной семье, Бродский жадно заинтересовался метафизическими вопросами в юности, при этом познакомился с основами индуизма и буддизма раньше, чем с иудеохристианством. Библию впервые прочитал, когда ему было двадцать три года. Был ли он верующим человеком, и если был, то в каком отношении находилась его вера к христианству, иудаизму, восточным религиям – или то были внеконфессиональные отношения со Всевышним? Мне представляется бестактным спекулировать по поводу веры или агностицизма Бродского, а в его собственных текстах мы находим недвусмысленный ответ только на последний вопрос: «...я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения»³⁴⁰. В стихах он высказывался резко: «...я не любил жлобства, не целовал иконы...» («Пятая годовщина», У) — чем спровоцировал гневную отповедь анонимной «Группы православных христиан из СССР», приславшей в журнал «Континент» письмо, хлестко, но неточно озаглавленное «Христопродавцы»³⁴¹. Бродский не оставил этот выпад без ответа. Два года спустя в панорамном «Представлении» (ПСН) он дал карикатуру на новообращенных изуверов, подменяющих веру ритуалом, национальным чванством и ксенофобией:

Входит некто православный, говорит: «Теперь я – главный.
У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.
Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.
Дайте мне перекреститься, а не то – в лицо ударю.
Хуже порчи и лишая – мыслей западных зараза.
Пой, гармошка, заглушая саксофон – исчадь джаза».
И лобзают образа
с плачем жертвы обреза...

(В неоконченном последнем слове заключена многозначительная двусмысленность: «жертвы обреза[ния]» – намек на интеллигентов еврейского происхождения, увлекшихся православием как интеллектуальной модой, а «жертвы обреза[нных]» – указание на антисемитизм, неотделимый от русской этнической религиозности; к тому же «обрезанность» самого слова иконична.)

Недоверие к обрядовости православия не означает автоматически приверженности к протестантизму или евангелическому христианству, хотя если Бродский обращается в стихах к Высшему существу, то не литургически, а непосредственно и интимно, как принято в евангелическом вероисповедании:

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за всё...

340 *Интервью 2000*. С. 95. Когда журналист спросил его, правдивы ли слухи о том, что он формально принял христианство, Бродский ответил: «Это абсолютно бредовая чушь!» (там же. С. 219).

341 *Континент*. 1985. № 43. С. 380–381. «Христопродавцами» в этом гневном, но не слишком вразумительном письме названы и Бродский, и редакторы журнала.

(«Римские элегии», У)

...в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
– Прости меня.

(«Литовский дивертисмент», КПЭ)

Не упованием на спасение из глубин страдания, а благодарностью и прощением, по существу счастливыми состояниями духа, проявляется вера у Бродского³⁴². «И пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность» («Я входил вместо дикого зверя в клетку...», У). О строке из «Шиповника» Ахматовой: «Ты не знаешь, что тебе простили...» – Бродский сказал, что «она – ответ души на существование... ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет»³⁴³.

Когда Бродский говорит интервьюерам о своем «кальвинизме», то это, разумеется, фигура речи, троп. О кальвинизме в его метафизике напоминает лишь одно – представление об изначальной греховности (у Бродского, скорее, виновности) человека, которую нельзя ни замолить, ни искупить добрыми делами: «Согласно кальвинистской доктрине человек отвечает сам перед собой за всё. То есть он сам, до известной степени, свой Страшный Суд»³⁴⁴. В «Письме президенту» (1993) он писал: «Не живет ли в каждом из нас какая-то вина, не имеющая никакого отношения к государству, но тем не менее осязаемая? Поэтому всякий раз, когда рука государства наступает на нас, мы смутно воспринимаем это как возмездие, как прикосновение тупого, но тем не менее предсказуемого орудия Провидения»³⁴⁵. Точнее, у Бродского речь идет не о греховности в традиционном христианском понимании, а об экзистенциальной вине несоответствия самому себе, неаутентичности (по Хайдеггеру) или, как прокламируется названием автобиографического эссе Бродского «Less than One», виновность человека в том, что он в жизни сплошь и рядом «меньше самого себя»³⁴⁶. Этот «сам» – ежеминутно живущий в полную меру своего дарования, аутентичный, «нестадный» человек или фрейдовское «сверх-я». Нравственным вектором в жизни является стремление стать равным самому себе, что удастся только в творчестве.

Так же, как «кальвинизм», условны его заявления об иудаистской идее непостижимо произвольного Бога. Как уже говорилось выше, с иудаизмом, талмудическим или хасидическим, это имеет мало общего. Этот Бог вообще не относится ни к одной из институализированных религий. Это – Бог Кьеркегора и Шестова. Поэма «Исаак и Авраам» (ОВП) была непосредственным откликом на «Страх и трепет» Кьеркегора и, вероятно, на

342 «Что касается веры, не следует думать, что она – продукт пережитого страдания и т. д. Я думаю, что человека может сделать верующим и счастливый опыт. Это вполне возможно. Я с этим сталкивался». *Интервью 2000* С. 467.

343 Волков 1998. С. 256.

344 РС-2. С. 68. Е. Келебай посвящает сравнению Бродского и Кальвина целую главу, слишком буквально, на мой взгляд, понимая заявления Бродского о его «кальвинизме» (*Келебай 2000*. С. 270–286), тогда как Бродский оговаривает, что связывает свое мироощущение с кальвинизмом «не особо даже и всерьез» (РС-2. Там же).

345 СИБ-2. Т. 6. С. 174-175.

346 Переводя эссе Бродского в 1979 г. для парижского журнала «Эхо», я перевел название как «Меньше, чем единица» (имелась в виду «человеческая единица»). Перевод был авторизован, но название я перевел неудачно, ибо не вполне передал смысл английской грамматической конструкции «one is less than one». По-русски это будет «ты меньше самого себя» или «человек меньше самого себя». К сожалению, и в другом переводе, В. Гольшева (СИБ-2. Т. 5), та же неточность, искажающая принципиально важную для Бродского мысль.

размышления Шестова о Кьеркегоре³⁴⁷. Не будет большим преувеличением сказать, что и всё последующее жизненное поведение Бродского было откликом на эти тексты.

В 1993 году по инициативе П. Л. Вайля в Москве отдельной книжечкой были изданы рождественские стихи Бродского. Даря книжку знакомым, Бродский подписывал ее: «От христианина-заочника». Ему была свойственна любовь к Христу, но не поклонение ему. С одной стороны – все рождественские стихи и такие вещи со значительным элементом *imitatio Christi*, как «Горбунов и Горчаков» (ОВП), «Натюрморт» (КПЭ) и «Посвящается стулу» (У), с другой – искренние сожаления по поводу метафизической недостаточности христианства. Кажется, Бродский – единственный серьезный писатель Нового времени, искренне сожалевший об утрате политеизма. О Юлиане Отступнике он писал: «Рискуя быть обвиненным в идеализации, хочется назвать Юлиана великой душой, одержимой пониманием того, что ни язычество, ни христианство недостаточны сами по себе: ни то, ни другое не может удовлетворить полностью духовные потребности человека. Всегда есть нечто мучительное в остатке, всегда чувство некоего частичного вакуума, порождающее, в лучшем случае, чувство греха. На деле духовное беспокойство человека не удовлетворяется ни одной философией, и нет ни одной доктрины, о которой – не навлекая на себя проклятий – можно сказать, что она совмещает и то, и другое, за исключением разве что стоицизма и экзистенциализма (последний можно рассматривать как тот же стоицизм, но под опекой христианства)»³⁴⁸. Помимо прямого содержания этого высказывания, следует обратить внимание на то, что носителя лучших человеческих качеств Бродский называет «великой душой». Мы помним, что «великая душа» – это и определение Ахматовой в лапидарном юбилейном стихотворении 1989 года. И в личности Одена он выделяет как главное «щедрость духа».

Независимо от степени и характера религиозности в стихах Бродского, одно несомненно – именно он возвратил в русскую поэзию исчезнувший было из нее метафизический дискурс. Он сам иногда ставил себе в заслугу возвращение в стихи слова «душа». Действительно, «душа» – одно из самых высокочастотных слов в словаре Бродского – 204 употребления³⁴⁹. При этом он имел в виду, конечно, не слово как таковое – в русском языке «душа» сплошь и рядом фигурирует в неметафизических значениях, и в этих значениях оно свободно использовалось даже в официальной советской поэзии. В. Р. Марамзин писал, что современный человек произносит это слово «только в поэтическом смысле, а в смысл поэтический он приучен не верить»³⁵⁰. Но у Бродского «душа», как правило, выступает как «бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею» (Даль). Нельзя сказать, что никто, кроме Бродского, не разрабатывал метафизическую тему в русской поэзии шестидесятых годов. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина – самые популярные поэты молодого поколения – при всей политической дерзости к проблемам веры были равнодушны, и если трактовали эту тему, то в том же духе, что и официальная советская поэзия (см., например, яркое атеистическое стихотворение Ахмадулиной «Бог», 1962). У Булата Окуджавы нередко встречается религиозная образность, но всегда в

347 Шестов был любимым русским мыслителем Бродского. Скорее всего, он начал читать Шестова еще в «Современных записках» из библиотеки С. Шульца (см. выше), а, начиная с середины шестидесятых годов, у него дома появлялись книги Шестова в репринтных изданиях «УМСА-Press». Свой экземпляр «Sola Fide» он перед отъездом из России подарил мне. На Западе общая любовь к Шестову определила дружбу Бродского с двумя замечательными писателями – поляком Чеславом Милошем и мексиканцем Октавио Пасом.

348 СИБ-2. Т. 5. С. 53.

349 То есть, если исключить служебные слова и местоимения, на девятнадцатом месте; ему предшествуют *один, жизнь, глаз, время, здесь, день, окно, человек, рука, земля, знать, год, сказать, ночь, слово, лицо, видеть, свет*, а за ним, замыкая первую двадцатку, следует *любовь* (Patera 2003. Vol. 6).

350 Марамзин В. Р. Тянитолкай. Ann Arbor: Ardis, 1981. С. 239.

переносном значении высоких человеческих чувств (см. «Опустите, пожалуйста, синие шторы...», «Мне нужно на кого-нибудь молиться...», «Молитва» и другие стихи Окуджавы пятидесятых – шестидесятых годов).

С другой стороны, еще была жива Ахматова, и в лирике «андерграундных» поэтов, близких Бродскому по возрасту, были широко представлены духовные мотивы³⁵¹. От последних раннего Бродского отличало то, что он заговорил о Боге и душе не в сложном модернистском контексте, а в архаической форме, словно бы действительно чувствуя необходимость недвусмысленно вернуться к прерванной традиции, прежде чем пробовать новые пути. Это одинаково относится и к простеньким, хотя и очень популярным «Стансам» (СНВВС) : «И душа неустанно, / поспешая во тьму, / промелькнет под мостами, в петроградском дыму...» – и к монументальной «Большой элегии Джону Донну» (ОВП). В «Большой элегии» Бродский непосредственно, не прибегая к стилизации, обращается к архаичному жанру «разговора души с телом», но и в «Стансах», и еще раньше в таких стихах двадцатилетнего Иосифа, как «Элегия» («Издержки духа – выкрики ума...») или «Теперь все чаще чувствую усталость...»³⁵², душа – это «бессмертное духовное существо», а не метафора совести или других моральных свойств.

Юный Бродский, не принадлежа ни к какой религии и не имея даже начатков религиозного воспитания, оперирует понятиями «душа» и «Бог», принимая религиозное мировоззрение, так сказать, «от противного», поскольку атеизм для него неотделим от советского политического режима. Поэтическое воображение в этой области у него работает сильно, но религиозная тематика еще недостаточно продумана. Даже «Большую элегию Джону Донну» он пишет, не прочитав ни стихов, ни знаменитых проповедей Донна. В то время все увлекались Хемингуэем и даже те, кто не читал его неизданного в СССР романа «По ком звонит колокол», знали эпитафию, знаменитую сентенцию Донна: «...ни один человек не является островом... а посему не посылай узнать, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе». Как вспоминал потом Бродский, он полагал, что это строки из стихотворения, и полтора года спустя, когда Л. К. Чуковская прислала ему в Норенскую книгу Донна, пытался это стихотворение отыскать³⁵³. Сложнее, противоречивее, драматичнее трактуются вопросы веры в стихах после 1964 года, то есть после того, как Бродский познакомился с Библией, начал читать труды религиозных мыслителей и, главное, оказался лицом к лицу с серьезными жизненными испытаниями.

Два стихотворения, в которых с наибольшей полнотой выразилась мерцающая – то вера, то агностицизм – религиозность Бродского, – это «Разговор с небожителем» (1970) и «Натюрморт» (1971; оба в КПЭ). Бродский говорил, что в Библии на него самое сильное впечатление производит Книга Иова. Надрывная трагическая интонация «Разговора с небожителем» та же, что в сетованиях Иова. Но Иов твердо знает, к Кому обращается, и слышит Его ответы. Разговаривающий с небожителем у Бродского, скорее как ожидающие Годо у Беккета, не уверен ни в небесном статусе, ни порой даже в существовании своего адресата. Это то ангел, то, по-видимому, Всевышний (поскольку ему возвращается дар), то «одна из кукол, пересекающих небесный купол», что и приводит к выводам то агностическим («любая речь безадресна»), то в духе суровой экзистенциалистской религиозности – «вся вера есть не более, чем почта в один конец». Моральную опору, «мужество быть» перед лицом страданий и смерти приходится искать не в Боге, а в самом себе.

Немногим более года отделяет «Разговор с небожителем» от «Натюрморта», но в «Натюрморте» на безответные вопросы «Разговора» дается решительный, хотя и непростой ответ. «Натюрморт» написан во время болезни, когда у Бродского подозревали рак, прежде

351 В период юности Бродского это в первую очередь Генрих Сапгир, Стас Красовицкий, Михаил Еремин.

352 СИБ-2. Т. 1. С. 26–27.

353 См. *Интервью 2000*. С. 513.

чем был установлен менее суровый диагноз. В стихотворении упоминаются симптомы анемии, которой сопровождалась болезнь: «Кровь моя холодна. / Холод ее лютей / реки, промерзшей до дна...», «Два / бедра холодны, как лед. / Венозная синева / мрамором отдает». Слово «душа» не встречается в «Натюрморте», но драматическая коллизия этого стихотворения – превращение одушевленного в неодушевленное, плоти в мрамор, человека в вещь. Нет слова «душа», но есть слово «абсурд», перекочевавшее в поэтический словарь Бродского напрямик из «Мифа о Сизифе» Камю. Мысль Камю об абсурдности человеческого существования Бродский цитирует и в других стихах, входящих в «Конец прекрасной эпохи» – в «Письме генералу Z.» («сумма страданий дает абсурд») и «Посвящается Ялте» («Ведь это – апология абсурда! Апофеоз бессмысленности!»). Отношение к абсурду у Камю двояко. Абсурдно человеческое существование ввиду неизбежности смерти: «Мысль, что „я есмь“, мой способ действовать так, будто всё имеет смысл... – всё это головокружительно опровергается абсурдностью возможной смерти»³⁵⁴. Но открытие абсурда приносит человеку трагическую свободу и даже счастье, говорит Камю, и оно изгоняет «из здешнего мира Бога, который сюда проник вместе с неудовлетворенностью и вкусом к бесполезному страданию»³⁵⁵. Но вот героического атеизма Камю Бродский не разделяет. На вызов абсурда он отвечает в «Натюрморте» утверждением веры, причем делает это с исключительной поэтической изобретательностью.

Как всегда у зрелого Бродского, важным смыслообразующим элементом стихотворения является композиция. За исключением «Горбунова и Горчакова», пожалуй, нигде симметрия/асимметрия частей не играет такой исключительной роли, как в «Натюрморте» (КПЭ). Стихотворение состоит из десяти равных, по три катрена в каждой, пронумерованных частей. Первые девять представляют собой авторский монолог, подобный «Речи о пролитом молоке», но сфокусированный на теме смерти. Как уже было сказано, эта тема представлена в оппозиции *человек/вещь*. Подобно чеховскому Гаеву из «Вишневого сада», который со слезами прославлял непоколебимое существование «многоуважаемого шкафа», Бродский иронически противопоставляет буфет, незыблемый, как твердыня *Notre Dame*, человеку с его жалким страхом смерти. Части 1–3 и 6 – о человеке, себе, в них фигурирует «я»: «Я сижу на скамье...» (1), «Я готов начать...» (2), «Я не люблю людей...» (3), «я сплю среди бела дня...» (6). Симметричны по отношению к частям 1–3, 6, в девятичастной структуре, части 4 и 7–9. Они о вещах: о дереве, камне, пыли и вещах-предметах вообще. «Я» в них отсутствует. В центре всей конструкции – часть 5 («Буфет»). Здесь мы находим наблюдение конкретной вещи, но и наблюдатель не устранен из текста, имеется «я», хотя и в косвенном падеже: «Старый буфет... <...> напоминает мне...» Преобладание вещного над личностным во второй половине стихотворения утверждает тему омертвения живого, «натюрморта», интерпретированного буквально как «мертвая природа». В завершающей тему девятой части прямо говорится о приходе смерти к уже, по сути, безжизненному телу, которое способно только, подобно предмету – зеркалу, отразить лик смерти.

Здесь заканчивается прямой авторский монолог. Но «Натюрморт» на этом не кончается. Вне строгой симметричной структуры и как сюжетный *non sequitur* возникает десятая часть – квазиевангельская сцена, диалог распятого Христа с Марией³⁵⁶. Речь идет о таинстве воскресения, победы над смертью.

Мать говорит Христу:

354 Камю А. Творчество и свобода. М.: Радуга, 1990. С. 66.

355 Там же. С. 108.

356 Такого эпизода нет в Евангелиях. Скорее всего, он навеян ахматовским «Requiem'ом», который тоже имеет десятичастную структуру и в котором также, без видимой связи с предыдущими частями, часть десятая, «Распятие», представляет собой две евангельские сцены. В первой из них цитируется обращение Христа к Марии: «Не рыдай мене, мати...» (из девятого ирмоса православной предпасхальной литургии).

– Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?

Как ступлю за порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив? —

Он говорит в ответ:
– Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

Нет разницы между смертью и жизнью – это выглядит как кьеркегоровский «прыжок веры», однако в лапидарной строке Бродского кроется и своего рода поэтическая рационализация такого ответа на трагическую дихотомию. Разницы нет постольку, поскольку «я твой». Благодаря общепринятому в современной русской грамматике пропуску бытийного глагола-связки, мы склонны забывать, что полная грамматическая конструкция была бы «я *есмь* твой». Связанные узами любви, люди *суть*, существуют. Вне этих связей – *homo homini res est* (человек человеку вещь)³⁵⁷. Как ни импонировало Бродскому мужественное одиночество «человека абсурда» (по Камю), на «последние вопросы» он все же отвечает в традиционно-христианском духе. И не только в «Натюрморте». Тема любви как спасения проходит через всё последующее творчество Бродского. Вопреки провокативному «Я не люблю людей...» он позднее скажет:

Многие – собственно, все! – в этом, по крайней мере,
мире стоят любви...

(«Стрельна», У)